

Суровый человек Болдуев

Они смотрели друг другу в глаза — конь и человек. Из глаза лошади выкатывалась мольба, крупно зрела тугой прозрачностью и темнела, и падала в истерзанный весной снег. Конь понимал, что пощады ему не будет, и кровавый его зрак с безысходной покорностью жадно вглядывался в лицо человека, будто стараясь запечатлеть его на всю жизнь. На ту самую жизнь, которая укладывалась в секунды, пока огромная, волосатая, неделю не мытая ручища с изуверской обстоятельностью расстегивала кобуру и тащила медленно и мучительно из нее огромный, казавшийся лохматым, наган. Зрак — в зрак. Жизнь — в смерть.

Вспухла и ударила молнией по худому телу лошади судорога.

Лохматый наган упрятал космы в тяжелой ручище и, как оборотень, явился стройным вороненым дулом, которое прорастало из ладони указательным перстом.

Потом хрустнуло, словно белка щелкнула орех, — и в зраке коня навеки отпечатался Болдуев таким, каким только он один мог быть. Приросшая к голове ушанка, лицо — кусок валуна, иссеченного трещинами, стремительный, хищный, как крыло беркута, нос, огромный жабий рот, и темные, словно тучи на скале, брови, из-под которых исступленно рвались на волю иссиня-синие, просто неестественной синевы глаза. Не той синевы, что одаривает нас море, не той синевы, что роняет на нас небо, а той синевы, что отливают ледники — холодной, под которой не растет ничто живое.

Взвод прошагал мимо, единый, словно сороконожка, вбухивая в снежную слякоть последние свои силы. Только рядовой Илие, которого все звали Илья, даже не подозревая, что это его фамилия тихо всхлипнул грудью и с ненавистью ткнулся взглядом в заросший подбородок Болдуева.

— А ну-ка, иди сюда, — спиной сказал Болдуев, и Илие понял, что это ему, и подошел, прикидывая по шинели старшины, куда бы он со сладострастием саданул саперной лопатой.

— Чего хрюкаешь? — просипела спина, и Илие вдруг осмелел и сказал севшим от торжественной отваги голосом:

— Зачем вы его, товарищ старшина? Пусть бы лежал. Может, и вылечился бы.

Болдуев, словно башню танка, с натугой вывернул наискосок голову и жестко выплюнул:

— Сыми с дохлятины поклажу и догоняй. Через десять минут не догонишь — мочала из тебя надеру, — и крупно, не оборачиваясь, зашагал Болдуев, и земля застонала, заохала, запричитала, попираемая его сапогами сорок шестого размера.

— Чтоб тебя миной по башке, дубина, — высказал сокровенное Илие и добавил еще много, много других русских слов, которые он выучил в окопах. Половину этого запаса израсходовал Илие и потому немного успокоился, тем более что знал о Болдуеве главное — никакая мина, никакая бомба его не берет с первого дня войны.

Догнал Илие отделение не через десять минут, а через два часа. Два эти часа он плелся по раскисшей снеговой глине, вяло проклиная войну, немцев, старшину, не чувствуя заледеневших ног. Из носа капало, глаза слезились, карабин стучался ниже спины, будто ноги подгоняли его пинками. Потом силы оставили Илью, и упал он в снежную кашу и с облегчением почувствовал, как в горящую его душу ледяной гадюкой поползла смерть. Он уже и попытался подластиться к смерти, и удобно подогнув колени, как вдруг страшный рывок вырвал его из этого блаженства, и оторопевший Илие прямо перед глазами увидел заросший мохом кусок валуна, из которого брызгали невыносимой синевою глаза старшины Болдуева.

Десять раз за секунду жизнь покидала и возвращалась к Илие, пока не разомкнул он черные губы и, выплескивая растаявший снег, не выкрикнул: — Зачем вы его, товарищ старшина?

Болдуев отпустил его, и лохматые тучи-брови сбежались на переносье. Хищный нос слабо булькнул. Узкая щель рта раздвинулась, и оттуда каркнуло:

— Сопли подбери, вояка!

А потом уже прогремело гранатой:

— А ну марш за мной! Тыщи людей каждый день мрут, а он лошака поминает, юродивый...

И спина старшины разбухла, всосала в себя последние капли белого неба, и утробно чавкнула под его ногами стылая, закордонная земля.

И Илие шел, погрузившись взглядом в бездонную черноту болдуевской спины и даже уже не удивился, почему не падает лицом в снег. И тем более не пришла ему в голову мысль: откуда взялся здесь посреди чужой чернильной ночи этот ненавистный ему человек, старшина Болдуев.

В глиняном сарайчике без крыши, где сгрудилось отделение, остро пахло мокрым брезентом, сырой землей, прелыми портянками. Шустрый татарин Мифтахутдинов успел разжечь костер, и тут же отделение закопошилось, выставив к огню желтые, как у мертвецов, с грязными подтеками между пальцами, натруженные ноги. Отблески костра призрачно плясали по щетинистым, ввалившимся щекам бойцов и прыгали искорками им в глаза, и тлели там, призрачно и ненадежно.

И это подтвердил рык Болдуева:

— Гаси огонь. Жива-а-а!

Желтые ноги вздрогнули, черная масса в сарайчике сгустилась, заворчала глухо, как пес на хозяина, потом раздробилась на отдельные выкрики, но татарин уже накрыл огонь мокрой плащ-палаткой, и он тут же задохнулся, вытекая из-под нее молочно-белыми ручейками дыма.

— Илья, на пост! — ухнуло по-болдуевски в темноте. И Илие вышел в ночь, не успев даже сунуть за пазуху пару горстей надышанного, настоящего на солдатском поте тепла.

Сырая холодная ночь тут же похотливо начала обшаривать его тело, выискивая последние остатки тепла. «Нет, я этого не вынесу», — взрывалось в голове Илие. — «Я так больше не могу. Трое суток Лучше смерть, смерть,

смерть». Он хотел было лечь в снег, но вспомнил про старшину и спокойно, будто посторонний, подумал, что тот ему все равно не даст спать. Он деловито прислонил к сарайчику винтовку и пошел в ночь. Сто шагов он сделал или десять — этого Илие не знал. Он упал и уснул мгновенно, еще не долетев до земли.

А старшина Болдуев немо стоял над ним, и жесткая усмешка крошила его щеку, и трещинки от нее взбирались выше, к уголкам глаз, над которыми темно клубились брови.

II

А Илие снилась Иванка. Да, да, она ему снилась именно здесь, на снегу, в чужом, враждебном краю. Она снилась ему всегда, как только он смеживал веки. И даже когда не закрывал глаза. Когда шел походным маршем, она тоже снилась ему. Он научился видеть ее во сне каким-то вторым зрением, и тогда, когда стоял на посту, и когда занимался скучной военной работой. Как будто два Илие жили в нем. Один шагал в строго или чистил карабин, а другой спал и обнимал во сне свою любимую Иванку.

Не было у Илие девушки до Иванки. Не было — и все тут. Работал в трактире на улице Павловской, на окраине Кишинева. Мыл посуду, подавал пьяным возчикам мамалыгу с брынзой, когда требовала публика — играл им на флуере мелодии, которые в бесчисленном количестве рождались в его голове. Родителей у него не было, и трактирщик Моня Зайдман заменял ему и отца и мать, мгновенно сгоревших несколько лет назад на костре какой-то непонятной болезни. Не было у него девушки, хотя и мечтал он о любви, наверное, с семи лет. Каждый день наблюдал пьяных женщин, которых, напоив вином, уводили мордатые возчика с собой, видел на огородах за пекарней, так тискали и любили этих растрепанных женщин в бурьянах, как грязно те ругались, когда им мало платили, — все это он видел, маленький Илие — и мечтал о любви, истово верил в нее, чистую и красивую.

Поймала, правда, его в подвале как-то дочь трактирщика Роза, крепко прижала к груди мягкими, но сильными руками, впиалась губами в его рот, но это было не то, и вырвался Илие и долго тер губы, и смотрел на них в огрызок зеркала, и дивился, что хорошего находят люди в поцелуях. И долгие годы потом, до девятнадцати лет, он явственно чувствовал на губах грубую жадность Розино поцелуя и брезгливо подергивал плечами до тех самых пор, пока не прикоснулись к его губам обжигающие, сумасшедшие губы Иванки.

С ней все было так, как мечталось. Как должно было быть. Она тоже жила в Кишиневе, хотя он ее никогда не видел. После освобождения Кишинева Илию мобилизовали в армию, и он попал в хозчасть, под водительство повара Бугая. Дело было знакомое — мыл полы, колол дрова, таскал продукты. А вторым помощником у дядьки Бугая была Иванка. Все очень просто.

Дядька Бугай, с рыжими пушистыми усами, только с виду был грозным, и Иванка его сразу раскусила. На его воркотню она раздражалась серебристым смехом и, лихо отдавая к месту и не к месту честь, что делала она весьма экстравагантно, Иванка все же поступала по-своему.

Они сразу потянулись друг к другу, наверное, потому что могли всласть говорить на родном языке, хотя и он и она довольно бойко болтали по-русски. Илие чувствовал, что при виде Иванки у него начинает кружиться голова и сладко ноет сердце, и он стал ее избегать, вернее, не столько избегать — куда тут денешься, — сколько старался не оставаться с ней наедине.

Они были даже чем-то похожи. Оба тоненькие, гибкие, черноволосые, с глазищами на пол-лица. Только она была смешливой, бойкой, а он мечтательным и тихим, будто постоянно прислушивался к себе, к чему-то такому, о чем никто не знал и не мог узнать.

Однажды вечером она нашла его в роще. Он сидел, привалившись спиной к дереву, и играл на флуере, а вокруг него золотыми листьями плясала осень. Она смотрела на него, черноволосого бога заставившего осень плясать, и чувствовала, как во всем ее теле, от пальчиков ног до кудрей, просыпается женщина. Просыпается томливо и сладко, и сладость эту вызывал он, Илие, расшатавший флуером деревья, заставивший танцевать саму осень.

Она подошла к нему и, не чувствуя ни малейшего смущения, уставилась в глаза. Он медленно поднялся, еще ничего не понимая, но чувствуя каждой клеточкой тела, что пришло это. Кружилась голова. Кружилась осень.

— Ты меня любишь, Илие? — вот так спросила она и взяла его руку, и стала к нему близко-близко.

— Положи руку мне вот сюда... на грудь... Ой, как хорошо, Илие. Ты сжимай тихонько... Сжимай, Илие... Ах-ах... вот так, Илие... Сжимай... — Сердце из него вылетело и кружилось вместе с листьями. Губы высохли, совсем-совсем высохли...

А она, закрыв глаза, выдыхала:

— Ты жми мне грудь, жми, Илие... Правда, у меня большая грудь? Как у настоящей женщины. Ой, что ты делаешь, Илие?..

А он в беспамятстве делал то, чего никогда не делал и чему никто его не учил. Он делал то, чему и учить не надо, что делали до него миллион поколений мужчин. Его пальцы пробежали по ее телу, по обнаженному гладкому телу женщины, и она со стоном пала на листья. И он пал рядом. И она потянула его к себе. И почувствовала, как он врывается в нее, жарко и неотвратно, ее первый, единственный на земле мужчина, и закричала от сладости и боли.

А осень кружилась над ними, размахивая желтой юбкой, и радовалась, что среди моря крови и миллионов смертей эти двое утверждают жизнь.

...Будто кто-то большой и сильный прошептал ему на ухо: вставай. Ночь впиалась в небо, высосав из него последние капли света. Тихо, как большой младенец, плакал дождь. Кошмар отступил, и Илие внезапно почувствовал весь ужас содеянного: «Бросил пост, оружие! Конец!» Он вдруг обнаружил,

что лежит на досках и накрыт плащ-палаткой. От ужаса он даже не удивился. Совсем рядом темнота вдруг набрякла еще больше и зашевелилась — и Илие по застылым очертаниям черного клубка догадался, что рядом стоял Болдуев. Жизнь снова побежала из него от пальцев ног до головы, задержавшись в резко защипавших глазах. «Что же он... что он... сразу бы убил, изверг!» Клубок тьмы ворохнулся, глухо кашлянул и от него отскочили хриплые, набрякшие сыростью, непонятные слова:

— Господи, стыдохом, аки... Валаам...

Темнота всхлипнула, натужливо вздохнула и уронила:

— На стынях палестинских, господь всеславный, аж грядишь камо...

Плакала младенцем ночь.

...На позиции дивизии в районе озера Балатон вывалились главные силы левого крыла эсэсовского танкового корпуса, внезапно атаковавшего нашу армию. Дивизия была разбита. Комдив выскреб все тылы, пытаясь заткнуть образовавшиеся бреши в обороне, но остановить лавину немецких танков не смог. Было полностью потеряно управление войсками. Разбитые роты и батальоны на свой страх и риск пробивались к главным силам. Этот внезапный удар немцев ошеломил войска. Никто его не ждал. Наоборот, казалось, что еще усилие — и Венгрия будет полностью освобождена. Так считали все — от генералов до ездových. Но враг думал иначе. Растерзав нашу оборону, он уничтожал армию по частям. Из многочисленных беспорядочных потоков наших войск, хлынувших назад, огневой взвод Болдуева был маленьким, но стремительным ручейком, мчавшимся к спасению, избегая дорог и открытых пространств. С фанатичным упорством выполнял Болдуев приказ умирающего комроты Орбелиани — вывести единственный уцелевший от разгрома взвод к своим.

И Болдуев его вел, ночами, крадучись, как зверь, где можно бегом, вел по компасу, не зная куда. Он вел взвод, сцементированный его железной волей неистовым порывом, лютой жестокостью. Два лейтенанта — танкиста, прибившиеся к взводу, попытались было воспротивиться железной воле и отчаянному порыву Болдуева и, прикрикнув на него, достали из планшеток карты, чтоб вразумить старшину, но он, окаменев лицом, сунул им в нос наган и начал белеть, и глаза его вымерзли в синие льдинки, и лейтенанты быстренько спрятали планшеты, и стали в строй позади взвода, всем своим видом показывая, что готовы подчиниться любой команде старшины.

Дивизия не пополнялась с Яско-Кишиневской операции, и в роте остался в живых только один офицер — лейтенант Орбелиани. Взводами командовали сержанты и старшины, некоторыми отделениями — рядовые. Такой отделенный был и у Илие — маленький, суетливый татарин Мифтахутдинов. Родившийся и выросший в Рязани. Мужчина сорока примерно лет, с морщинистым, будто моченый дичок, высосанным думами личиком. Болдуев его не любил, распекал нещадно при всех, и его неприязнь ощущало все отделение. Но, странное дело, сам Мифтахутдинов относился к Болдуеву с величайшим почтением. И громкие разносы Болдуева не могли поколебать этого почтения татарина к взводному, несмотря на оскорбительность и

пренебрежительность его тона. Особенно раздражала Болдуева странная привычка Мифтахутдинова шевелить ушами и постоянно подтягивать штаны. Делал он это мягким кошачьим движением, не ладонями, а локтями: шмыг — и готово. И стоит отделенный по стойке смирно, пятки вместе, носки врозь, пальцы полусогнуты, и уши его шевелятся, и шоколадные глаза преданно едят начальство, то есть Болдуева, лицо которого каменеет, трескается жесткими морщинами и брызжет синим колючим льдом. Так они стоят друг перед другом, не отводя в сторону глаз, пока Болдуев не выдержит и не плюнет под ноги в сердцах и не рявкнет:

— Вольно!

И повернется, и пойдет, и всем будет видно, как давится он разбухающими в нем страшными ругательствами, как сжимает он зубы, чтоб не вырвались они из глотки утробным ревом, от которого на сто верст вокруг, вырвись он наружу, мгновенно погибнет все живое.

А Мифтахутдинов немедленно садился на корточки, — любимая его поза, — и вымоченный дичок — его лицо — наливалось добротой, разглаживаясь, словно «антоновка», и толстые губы растягивались в умильную улыбку. — Большой человек, старшина. У-умный, дай ему, мамочка, хороших внуков.

Однажды, когда истерзанный придирками Болдуева, Илие, забившись в угол теплушки, тихо, наслаждаясь и оттаивая, плакал, к нему подсел Мифтахутдинов. Погладил, как маленького, по голове и, поминутно оглядываясь на гороподобную тушу Болдуева, с головой накрытого плащ-палаткой, зашептал:

— Ты на него, Илья, не сердись. Он всем добра хочет, дай ему, мамочка, хороших внуков. И сердится по-хорошему... Ты посмотри, в других взводах осталось в живых по десять-двенадцать человек, а у нас тридцать четыре... Понимаешь? Значит, любит он человека, солдата, бережет... Хороший, значит, командир...

Но слова татарина отскакивали от Илие, словно мяч от стенки. Черная, слепая ненависть к Болдуеву раздирала ему сердце, и самыми сладостными мечтами у него были мечты о мести. Сколько раз на привалах, во время ночевки он придумывал страшные кары для старшины, упиваясь каждой деталью своей мысленной казни.

Особенно страдал Илие, вспоминая золотистый осенний день в Румынии, когда рота Орбелиани стояла в резерве, расположившись в тихой березовой роще. Болдуев лично поставил Илие на пост у конца рощи, где еле заметная тропинка с разгону бросалась в узенький ручеек, оскалившийся рыжими валунами, нивесть откуда взявшимися в здешней степи. Ручеек упоенно бормотал берегам о чем-то своем, сокровенном, с оглядкой пересвистывались в редяющей листве неизвестные птицы, вокруг было разлито столько осязаемой, трепетной доброты, столько света, доброжелательности, что даже мысли о войне казались здесь чудовищными и нелепыми.

Мягко кружились листья. Илие закрывал глаза, и тут же перед ним возникала Иванка и вместе с ней неясная мелодия, волнующая его до слез, чувственная, танцевальная. Эта мелодия не уходила, и Илие, закрыв глаза, крался за ней, пока не увидел ее всем телом. И она вошла в него, словно глоток воздуха, и он сдался ей. И не заметил даже, как отставил винтовку, как в руках его оказался флуер, — и мелодия вырвалась из Илие, словно весенний ветерок, и подхватила желтые листья, и закружила их, и Илие закружился с ними, не выпуская из рук флуера.

— Эт-то что? — грянул на него с небес, обрушился, как скала, на голову голос Болдуева.

Еще кружились листья, еще кружилась с ними земля, а мелодия умерла мгновенно, убитая этим голосом наповал.

Из золотистого кружения, из света игры красок, затемнев, пророс плохо вытесанный валун Болдуевского лица, и из-под хищного носа кувыркнулось и взорвалось гранатой под ногами:

— Эт-то-о что-о?

И ухнуло бомбой:

— Раз-з-гильдьяй, под трибунал!..

Его не сдали под трибунал. Но он десять часов простоял с полной выкладкой по стойке смирно, без пищи и воды перед огромными сапогами Болдуева, приставленный к ним с примкнутым штыком. И никто не восстал против этого самодурства, унижения человеческой личности.

Только Венька Молодчик, комсорг роты, сунулся было к Болдуеву, но, наткнувшись на его свинцовое «цыц!», завернул обратно, что-то опасливо бормотнув и беспомощно пожав плечами.

Мимо ходили солдаты, стараясь не встречаться с Илией взглядом, и ни один из них, быстрых на шутки и розыгрыши, ни слова не выкрикнул Илие, окаменевшему в позоре, привязанному глазами к огромным сапожищам, истоптавшим сотни дорог от Волги до светлой румынской рощицы на берегу безымянного болтливого ручья.

И только Иванка сидела рядом с ним на пеньке, будто ничего не случилось, сидела все эти бесконечные десять часов тоже без пищи и напевала горловым, негромким голосом молдавские песни.

Потом они вдвоем ушли в рощу, и она ласкала его, униженного, раздавленного свинцовой болдуевской волей, и они плакали вдвоем громко и раскованно, и ничего для них сейчас не было сладостней этого страстного, освобождающего душу от тяжести, до конца сроднившего их, затерянных в огромной, чужой им войне, плача.

Ш

...А Болдуев бормотал какие-то странные, изжеванные словеса, и его тень, выдавленная в небо ночью, колыхалась, как маятник.

— На стынях палестинских... господи, лик твой благостный...

Илие все вспомнил: и то, как бросил винтовку, и как убежал. Вспомнил и содрогнулся от ужаса, от неминуемости кары. Содрогнулся от страха не за себя, а за Иванку, а потом и за себя и за нее. В мозгу его, словно ракеты, вспыхивали и гасли отрывочные мысли, даже планы. «Значит, он меня сюда принес, гад собачий... Теперь — трибунал... Сколько грозил — теперь-то уж точно... Надо бежать...» И вдруг ненависть сжала ему горло. И Илие тяжело задышал, чтоб протолкнуть ее из тела, но она только жарче разбежалась по жилам, стянула судорогой скулы: «Убить его, гада, — и бежать... Вместе с Иванкой...» Он слабо пошарил руками вокруг и нащупал саперную лопатку. Ее щербатая, захватанная солдатскими ладонями рукоятка придала ему сил. Илие тихо приподнялся на левый локоть, но тут же его пригвоздило к земле болдуевское:

— Щшанок!

И дробненький, еще не слышанный Илие смешок покатился по земле, прыгнул вверх и мягко ткнулся в темноту.

— Щшанок, оружие себе выбрал, да я тебе задарма разрешу этой хреновиной на моей голове орехи колоть! — и Болдуев забулькал грудью, давясь и вдруг тихо сказал:

— Не спал я, паря, трое суток. Покарауль меня ровно до первой зорьки. И тут же буди — иттить надо, иттить, пока ноги не сотрем... В этом наше спасение...

И он даже не договорил, потому что последнее слово его вытянулось надвое, хрустнуло и проросло храпом, вернее, рыком, и Илие, ничего не понимая, задержал дыхание и вместе с ним мысли, боясь дать им волю.

Рык Болдуева, казалось, слышен был во всей вселенной, и Илие он, как ни странно, придавал уверенность и силы. Казалось, этот рык единственно связывал его с жизнью в этой чужой, враждебной ночи, скорой на любую подлость, могущей вот сейчас, в эту минуту взорваться леденящим немецким воплем: «Хенде хох!». Спокойная, будто посторонняя появилась мысль об Иванке и тут же канула, спугнутая могучим храпом Болдуева.

Темнота была плотной и осязаемой, хоть режь ножом, и все-таки глаза Илие, острые глаза зверюшки, расслаивали эту темноту, вырезали из нее, как из черного картона, отдельные предметы. И потому он сразу же заметил, как метрах в двадцати, на опушке, тьма сгустилась, за клубилась в пять-шесть клубков и безмолвно проросла несколькими фигурами в плащ-палатках. Еще ничего не успев подумать, Илие всей кожей ощутил что-то враждебное, чужое в размытых их очертаниях, и страх холодной змейкой скользнул по его телу от ног до глаз, и зацепил, защекотал, нашептывая, что надо пасть ниц и уползать в спасительную черноту ночи.

Чужие тени на несколько секунд слились, затем расслоились и ужасающе медленно поплыли ему навстречу. Забыв про всю науку воинской субординации, вдалбливаемой ему Болдуевым, Илие тихо пискнул и вцепился в руку старшины и плачущим голосом прошептал:

— Дяденька, ну дяденька, там кто-то идет...

Болдуев мгновенно привстал на локоть и ударил из автомата прямо в набегающий на него топот. Несколько теней сломалось и тут же навеки слилось с ночью, но две пали на неуспевшего встать Волдуева и превратились в огромный черный клубок, скрежещущий зубами, железом, изрыгающий страшные ругательства на двух языках.

Как будто со стороны, как в кинематографе, Илие увидел, что Болдуев подмял под себя одного немца и страшным ударом кулака, в котором была зажата граната, разнес ему череп, зато другой, изловчившись, прыгнул сзади, такой же огромный, как старшина, и, левой рукой захватив горло Болдуева, ломая его, гнул к земле, а другой шарил в грязи, отыскивая выроненный в схватке нож. Болдуев хрипел, выкатив глаза, и огромное его тело билось под немцем в холодной липкой грязи. И как будто с экрана, нереально, издалека, до Илие донесся каркающий хрип:

— Илья-а-а-ша!

И этот хрип натужный, и в то же время, неожиданно жалобный, вдруг вернул Илие к действительности, и он, не зная, что делать, зачем-то отбросил винтовку и прыгнул на немца и вцепился ему в горло. Немец легко, как пушинку, одним движением плеч стряхнул его, но Илие, словно мячик на резинке, снова вернулся на прежнее место, и левая рука его нащупала теплый влажный глаз немца, и Илие, закричав от ужаса, впился пальцами в этот глаз, и немец так же громко закричал, выпустив Болдуева, и тут же захрипел, захлебываясь собственной кровью, ибо старшина уже нашел нож и вонзил его прямо в кадык немца, содрогающегося от боли и крика.

Несколько секунд Илие лежал на немце, продолжая кричать, потом внезапно почувствовал его запах, солдатский, терпкий запах сырости, кожи, пота, табака и одеколona, и его вырвало прямо на убитого, и он замолк, отползая в сторону, судорожно всхлипывая и икая.

Минуту-другую они еще лежали, жарко хватая ртом густую черноту ночи, затем Болдуев тяжело встал, со стоном нагнулся над убитыми. Его руки проворно обшарили их карманы, вытащили какие-то бумаги, предметы, невидимые Илие, которые старшина упрятал тут же в комсоставскую сумку из сморщенной кирзы.

— Пойду у тех посмотрю, — все еще тяжело дыша, уронил Болдуев себе под ноги, и тень его, как стервятник, распласталась над убитыми немцами чуть поодаль.

Через минуту он вернулся с двумя флягами и немецкой офицерской сумкой с целлулоидным козырьком, отхлебнул два раза, крупно и жадно, из фляги и севшим, каким-то неожиданным голосом проговорил:

— Сплоховали мы с тобой, Илюша. Сплоховали. Одного фрица надо было бы живым... Узнали бы, что творится... Венька-то Молодчик по ихнему кое-что кумекает... Накось вот, хлебни шнапсу ихнего...

Илие, в полусознании еще, послушно отхлебнул, прислушался, как потекло по всему телу тепло, и расслабленно сообразил, что необычного было в голосе Болдуева. Старшина разговаривал по-человечески. Разговаривал точно так, как говорят ездвые, повар Бугай, возчики в Кишиневе. Он просто

разговаривал, а не орал, не командовал, не распекал. Он просто разговаривал с Илие.

— Ну ничего, парень, бумаги кое-какие тут есть, Венька посмотрит...

В этот момент из темноты вынырнул тревожный голос Мифтахутдинова.

— Товарищ старшина-ина? А? Товарищ старшина? А?

— Тут я. Тут. Давай вылезай. Пока ты на помощь шел — Берлин можно было взять.

Мифтахутдинову ничего и объяснять не надо. Скользнув взглядом вокруг, он сразу же представил, что произошло в темноте.

— Где бойцы? — уже обычным своим голосом спросил Болдуев, и над его плечами сразу пророс валун, скудно обтесанный природой.

— Когда стрельба началась — заняли круговую оборону, товарищ старшина. А я пошел глянуть», что тут за стрельба.

— Глянул, и будя. Поднимай бойцов. Надо идти. Идти и идти...

Через пять минут взвод бесшумно ввинтился в темноту и растаял в ней, чужой и холодной.

На следующий день взвод отсиживался в полуразрушенной старинной крепости, неизвестно зачем построенной когда-то в стороне от рек и дорог. Выставив посты, Болдуев разрешил жечь костры и сушиться. Костры жгли в промозглом, холодном зале, напоминавшем огромную парную. Илие с Иванкой расположились отдельно, но скоро к ним подошел Болдуев и, хозяйски поправив костер, уселся рядом, стараясь не замечать враждебного и удивленного молчания влюбленных, но совсем удивились они, когда Болдуев, вдруг обмякнув лицом, заговорил:

— Разве это леса? Смехота одна. Да и ваши молдавские леса — тоже не то. Вот под Абаканом!.. Тайга-матушка. Ни конца — ни предела.

Он с хрустом потянулся, ощерив свой огромный жабий рот, и засмеялся.

— Служил я объездчиком в лесничестве. Как сыр в масле катался. Корову имел. Мясо в тайге брал, И медведя, и сохатого. И гриб. И ягоду. Все — тебе поклон. Все — боятся. Как же, в тайге я — человек первостатейный. Любой в ножки поклонится. Особенно когда шишковать сезон подходит.

Илие хотел побыть с Иванкой наедине. А теперь — не встанешь и не уйдешь, И хотя Болдуев сейчас не орал, не приказывал, а тихо говорил, и в глазах его иссиня-синих отчетливо ворочалась тоска, в Илие проснулась прежняя неприязнь к старшине. Ему начало казаться, что тот специально пришел к их костру, чтобы отравить ему счастливые минуты отдыха, Откуда было ему знать, мальчишке, что грубое ожесточенное сердце Болдуева, за всю войну не согретое даже простой мужской дружбой, сердце детдомовца, не знавшего родителей, вдруг потянулось к их счастью, как мотылек на свет. Он бы мог им рассказать, Болдуев, как вытекала из него по капле жизнь, когда привязанный к дереву залетными бандитами, широко открытыми глазами смотрел он, как насилуют его молодую жену, немногословную работающую кержачку из высланных, он бы мог рассказать, что до сих пор в его ушах звучит ее крик и крик шестилетней дочери, сгоревших в подожженной бандитами избе. Он бы мог рассказать, как шел потом, неизвестно по чьей

прихоти помилованный, по их следам, даже не сообщив милиции, шел сторожко, как зверь, принюхиваясь к запахам и приглядываясь к следам, ни с кем не желая делиться счастьем мести, как колол сонных бандитов черной ночью, колол спокойно, словно кабанов, и они покорно умирали, все шестеро, – даже не пытаюсь сопротивляться его холодной ярости. Он бы мог им объяснить, что замерзло с тех пор его сердце и ничто не могло его отогреть, и что убивал он все эти годы все тех же бандитов, только в чужих, серых мышинных шинелях, бандитов, пришедших снова грабить, насиловать и жечь. Убивал так же холодно и расчетливо, как и тех, что остались на съедение зверю в глухой абаканской тайге.

Он им не говорил этого, хотя ему страстно хотелось выплеснуть всю свою муку этим ребятам, сумевшим в грязи и копоты войны вырастить свою глупую и чистую любовь. Бездумную, глухариную любовь, которой совсем не место здесь, в пропитанном кровью, смертью и болью окопном мире войны.

Пусть бы взяли они на свои сердца хоть капельку его муки, разделили с ним ее, как котелок каши, и ему бы стало легче, спокойнее. Ибо знал Болдуев, что мог Илие взять себе часть его боли, несмотря на открытую ненависть, мог, бы взять, потому что так пронзительно играл этот молдаванчик на своей дудке, так душевно играл, что начинал таять лед смертной тоски, сковавший сердце Болдуева.

Но он этого ничего не говорил им, а рассказывал прямо в злые их глаза историйки, которые были и совсем не с ним, а с лесником, человеком корыстным и жадным. Рассказывал он эти паскудные историйки, не понимая зачем. Может быть, даже затем, чтоб они его совсем возненавидели, обрубали бы ту тонюсенькую ниточку, которая протянулась между ними после вчерашней ночи. Может, от того он это делал, что чувствовал, как просыпается в нем тот прежний Болдуев, добрый, отзывчивый на аску, любящий каждого, кто нуждался в его любви. И он хотел в самом себе заслонить того прежнего Болдуева слепой ненавистью этих ребятишек, так властно напоминавших ему о потерянном счастье, о возможности вновь его найти.

— Когда подходил сезон брать кедровый орех — тогда наступало самое мое время. Допустим, с первого августа сезон. Все шишкарки за два-три дня в тайгу устремляются. Чтобы места получше захватить. Да кто усидит, дожидаясь срока? Все начинают брать орех. Я остороженько хожу, высматриваю. Когда вижу, что где-то набрали мешок — обрушиваюсь, как снег на голову. Давайте-ка акт составим; мол, штрафник огромный заплатите. Нарушители и так и эдак. Все без пользы. Стою на своем. Тогда кто-то догадается: «Возьми, мол, мешок себе. Зачем акт?» Вот так к сроку я уже и имею несколько мешков. Да они их, еще и сами погрузят и на своей лошади домой свезут. Хе-хе... — и Болдуев жидко смеялся и в синих его глазах отрешенно мыкалась боль.

— Какой же вы! — не выдержала Иванка, фыркнула, как кошка, зло поблескивая глазами, и прижалась к Илие.

— Да вот такой, — неохотно согласился Болдуев, чувствуя, что оборвал, наконец, ту самую тоненькую нить, отчего ему стало совсем гнусно и холодно.

Неожиданная, необъяснимая злость вдруг ткнулась ему в горло так, что захотелось хватить этих двух глупых, токующих глухарей и встряхнуть их во всю мощь свою так, чтоб прозрели они, чтоб увидели, что не может, не должно быть любви, никакой любви, покуда вокруг смерть и разрушение.

Еле разлепив свой огромный рот, Болдуев злобно прохрипел:

— Ну чего расселся? Марш на пост к воротам! Сменишь Осычева... Жива-а! И забился в злобном насмешливом кашле. И непонятно было, кашлял он или смеялся.

IV

А утром, на четвертый день этого ночного бега, грязный, оборванный, изжеванный ранней весной, вывалился взвод Болдуева прямо под ноги молоденькому подполковнику с желтым старушечьим лицом. Подполковник с игрушечным пистолетиком носился возле батареи, сгоняя к ней группы бойцов, выбиравшихся к дороге из леса. Болдуев было сунулся к нему с рапортом, но тот раздраженно отмахнулся от него и уставился прыгающими белыми глазами на взвод, который тяжело и неохотно строился, пытаясь образовать в изъеденной воронками от бомб лощине две шеренги.

Наконец, в белых глазах подполковника блеснуло что-то похожее на мысль. Он по-птичьи встрепенулся, с хрустом крутанулся на щегольских, покрытых грязью сапогах и надрывно выдохнул:

— Кто такие? Откуда? А? Кто?

Болдуев, запинаясь, отрапортовал. Подполковник ошалело крутнул головой и вдруг обиженно и пронзительно, на одной невыносимо тонкой ноте, закричал:

— Что? Врать? Рас-с-стреляю! Ваш полк, все командиры и бойцы до единого человека легли героями! Пали смертью! Смертью пали! Понял?

— А мы вот вышли, — упрямо и убеждающе сказал Болдуев, стоя по стойке «смирно». — Вышли, не потеряв ни одного бойца.

— Вышли, — взвился подполковник. — Вы не вышли! Вы сбежали!

Сбежали, сволочи! Бросили командиров! Дезертиры!

Он рванул ворот кителя, так что полетели две верхние пуговицы и желтизна его лица стала еще мертвенней, блеклей.

— Становись ко рву! Ну!

И он пистолетом стал суетливо подталкивать Болдуева к краю ямы, в которой уже лежали расстрелянные два молоденьких, похожих, как близнецы, лейтенанта.

— Становись, предатель, иуда! — тонко кричал подполковник, и сумасшедшие его глаза дергались, и нервный тик рвал правую щеку.

— За измену Родине, за измену... именем... именем... — хрипел он, разворачивая Волдуева лицом к взводу.

— Товарищ подполковник, — слабо сопротивлялся Болдуев, как сопротивляется еще не совсем пьяный человек, которого пытаются увести от стола. — Товарищ подполковник!.. — но тот закричал, еще пронзительней и страшней.

— Я тебе не товарищ! Тебе Гитлер товарищ!

В его глазах была смерть. Глухая и слепая смерть.

— Эй вы, трое! — крикнул он бойцам, только недавно вышедшим из леса и опасавшимся, что их настигнет неистовый, словно ураган, гнев подполковника, и от этого чересчур старательно ковавшим ров.

— Ко мне! С оружием!

Трое суетливо бросили лопаты и, схватив автоматы, прытко побежали к подполковнику. На груди старшего из них позвякивали две медали.

Подполковник, дергая щекой, возбужденно построил их против Болдуева, отскочил, на глаз проверил строй и угрожающе предупредил:

— По моей команде, по изменникам Родины..

— Стойте! Стойте-е! — резанул воздух такой же пронзительный, как и подполковника голос. — Стойте же !Ну!

Перед бойцами, как распятый Иисус Христос, с раскинутыми руками, будто он их вот сейчас, сию минуту собирался обнять, возник Илие. Подвязанный ремнем от противогаса сапог, грязная, в прошлогодних репьях и колючках шинель без пояса — все это сразу запечатлелось в воспаленных зрачках подполковника, и он, не дослушав Илие, закричал:

— Где оружие? Где? Где? Дезертир!

От волнения, забыв русские слова, Илие, давясь слезами, шептал:

— Не стреляйте... Ну не надо, дядечка, — он цепко, как зверюшка, схватил за руку подполковника, пытаясь умоляющим взглядом пробиться к его сердцу сквозь белое лубление его глаз,

— Ага, ага, — бессмысленно бормотал подполковник и подталкивал пистолетом Илие к Болдуе-ву. — Давай, давай к нему. Рядом. Смерть за смерть... Давай...

Болдуев, все еще недоумевая, чем вызван такой взрыв гнева у этого офицера, но уже почувствовав, что сейчас, через несколько секунд совершится что-то дикое и непоправимое, решительно оттолкнул в сторону Илие и шагнул к подполковнику.

— Ево-то за что? Ево-то, мальчика. Он — ездовой, я — командир взвода. Меня сдавай под суд, али стреляй, коли есть вина, а его не трожь...

И видя, что подполковник ровным счетом ничего не понимает, оглушенный бредовой идеей, и не слышит даже, Болдуев оледенел от невозможности отвлечь надвигающееся страшное и неминуемое.

Ему и в голову не приходило, что он может просто вырвать пистолет у этого обезумевшего человека, собирающегося сейчас совершить убийство. И он даже сам вздрогнул от немыслимой жалостливости, от униженной слезливости своего голоса.

— Музыкант малец будет. Так играет, товарищ подполковник. Сердце рвет.

Его валунообразное лицо по-бабьи сморщилось и от этого стало еще страшней и отталкивающей.

— Не стреляй его, гад, — заорал он, видя, что слова его, неслышанные, тонут в белом тумане глаз подполковника.

— Разговорчики! Разговор...чики! — визжал подполковник, и сумасшедшие его глаза плясали безумный танец, и нервный тик сабельно сек правую щеку.

— Слушай мою команду!..

Он делал неправое дело, этот подполковник, и солдаты болдуевского взвода и другие чувствовали это, но не могли поверить, не смели поверить, даже допустить мысль, что делает он, этот молодой подполковник неправое дело. Они не знали, бойцы, трое суток шедшие к своим сквозь смерть, что подполковник со старушечьим лицом, потеряв в ожесточенном и коротком встречном бою свой полк, введенный из резерва, только обмундированный полк, люто боясь кары за это, своей бессмысленной жестокостью пытался перед кем-то, может, перед собой, оправдаться в чем-то, чему нет и не может быть на войне оправдания. Ибо полк остался лежать там, в снеговой жиже, в белых полушубках, искромсанный железом, а он стоит здесь живой, перед этими двумя солдатами, чья главная вина в том, что они живы, что не лежат, заледенев, в снегу, как лежат его хлопцы, с которыми он победно прошел по дорогам войны от Дона до красивого иноземного озера Балатон.

И подполковник, не раз открыто смотревший смерти в глаза, человек, вдруг попытавшийся отвернуться от нее, подлой старухи, на пороге победы, один только единственный-разъединственный раз, потому что вдруг ослепляюще уверовал, что можно и выжить в этой войне, можно выжить, только протянуть еще неделю-другую, вот этот самый человек, понимавший, что должен лежать там со своими бойцами и от этого потерявший разум, этот самый человек закричал бойцам, стоящим напротив Болдуева и Илие, страшным, леденящим душу голосом, закричал дико и обреченно:

— Пли-и-и!

И выстрелил сам раз-другой-третий из игрушечного пистолетика, потом сунул его в рот и выстрелил еще раз, и голова его откинулась назад, будто узрел внезапно он в сером небе одному ему видимую правду, и упал подрубленно в грязь, по-детски согнув колени, и желтое лицо его разгладилось и стало красивым и спокойным.

Илие упал сразу, легко, как травинка, срезанная косой, а Болдуев, приняв в грудь свинец, широко открыл рот, словно собирался запеть вольготную русскую песню, шагнул вперед, как выходит из хора солист, и медленно повалился на землю, и долго еще его била на земле смерть, вскидывала, сотрясала, пока не остановилось, сдавшись в этой бессмысленной борьбе, его огромное сердце.

Потрясенные этими смертями, неправдоподобными и жуткими, бойцы окаменели, стараясь что-то понять в этой бессмыслице, в этой животной жестокости, в этом безумном акте отчаяния, ничего толком не понимая, но чувствуя всем сердцем, что это не подполковник стрелял в Болдуева и в Илие, и в себя, а сама война — страшное и необъяснимое безумие

человечества. Их измученные позором разгрома и бегства солдатские сердца не могли принять этого бессмысленного акта жестокости, тем более сейчас, когда, казалось, так счастливо завершился их изматывающий, сжигающий душу бег. Может быть, они разберутся во всем этом потом, через годы, если уцелеют в последнем акте всепланетной драмы, именуемой войной. Может быть, они и разберутся... Кто знает?

А сейчас взвод, растерянный, может быть, даже вторично уничтоженный, молча стоял перед телами своих расстрелянных товарищей, тупо уставившись в молочно-грязную даль низкого январского неба.

И только в лугах за рощей, как птица в силках, билась в смертном плаче Иванка. Приподнималась и падала под тяжестью нечеловеческого своего горя, приподнималась и падала под грузом расстрелянной своей любви. И на ее горе, громкое и черное, как весенние поля, молчаливо и строго взирал чужестранный распятый бог.